

ДИНА БРОДСКАЯ

МАРИЙКИНО ДЕТСТВО

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

русская классика

Эксклюзив: Русская классика

Дина Бродская

Марийкино детство

«Издательство АСТ»
1938

УДК 821.161.1-93
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бродская Д. Л.

Марийкино детство / Д. Л. Бродская — «Издательство АСТ», 1938 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-179077-6

Повесть «Марийкино детство» – это история восьмилетней девочки, детство которой пришлось на тяжелые революционные годы. Марийка – кухаркина дочка, смышленая и наблюдательная. Она умеет радоваться жизни, любит читать и больше всего мечтает об учебе. Ее мечта недостижима, но Марийка пока не думает об этом. Проходит время… Девочки из состоятельных семей отправляются в гимназию, а Марийка по-прежнему помогает маме на кухне и проводит время на улице… Она не унывает, однако задается вопросом: «Кем я буду, когда вырасту?» Ответ Марийка получит, когда жизнь вокруг нее начнет стремительно меняться.

УДК 821.161.1-93
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-179077-6

© Бродская Д. Л., 1938
© Издательство АСТ, 1938

Содержание

Кухаркина дочка 6
В углу у Маласихи 9
Доктор Мануйлов и Лора 13
Дом на Губернаторской 15
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Дина Бродская
Марийкино детство

Серия «Эксклюзив: Русская классика»



© ООО «Издательство АСТ», 2025

Кухаркина дочка

Мать просыпалась в шесть часов. Приподняв с постели тяжелое тело, она шлепала босыми ногами через всю комнату и подтягивала кверху чугунный утюг, который заменял на стенных ходиках гирю. Потом, присев на край кровати, она начинала шнуровать высокие прюнелевые ботинки и, когда не сразу попадала в дырочки шнурком, ругалась вполголоса:

– От-то еще, холера!..

Марийка лежала в постели и смотрела на потолок, где расплылось огромное сырое пятно, похожее на собаку. В кухне было почти темно. Оконце наверху, круглое, как иллюминатор, пропускало мало света. Оно было величиной с большую сковороду, на которой мать жарила котлеты. Когда Марийка взбиралась на стул и становилась на цыпочки, ее нос как раз доставал до круглой деревянной рамы окна. Из окна она могла видеть красную кирпичную стену дома напротив и кусок криво подвешенной жестяной вывески сапожника. На вывеске было выведено тусклым золотом одно только слово: «Заказ». Это слово было не простое: оно читалось справа так же, как и слева.

Мать уходила на рынок. Ключ щелкал в замке кухонной двери, а Марийка, сладко зевая, вытягивалась на самой середине узкой кровати и опять засыпала. Каждые пятнадцать минут она просыпалась и, приподняв край сатиновой занавески, смотрела на часы. В семь часов, хочешь – не хочешь, надо было вставать. Чтобы совсем проснуться, Марийка таращила глаза и начинала считать синих петухов на занавесках. После четырнадцатого петуха ей больше уже не хотелось спать.

Прибрав постель, Марийка наливала маленьким ковшиком воду в печной бак – поднять ведро ей было еще не под силу, – потом она принималась за чистку башмаков, выставленных на кухне с вечера, и торопилась прежде всего вычистить коричневые докторские штиблеты.

Скоро возвращалась мать с огромной, туго набитой кошелкой, из которой торчали зеленые стрелы лука и кудрявые хвосты молодой морковки.

– Ой, и жарко, доченька! – говорила она, высыпая на стол деньги из вспотевшего кулака.

Марийка помогала матери разгружать корзину, а потом принималась чистить картошку. Сидя на корточках у печки и сбрасывая на пол длинные завитки картофельной шелухи, она прислушивалась к тому, как мать записывает расходы в книжку:

– Капуста… Яйца… Буряк… Баранины четыре фунта, квасоля для супа…

В кухне то и дело появлялась горничная Катерина, маленькая чистенькая женщина в передничке с кружевцами. У нее всегда были поджаты губы, как будто ее только что обидели. Катерина забирала вычищенную обувь, наливала горячую воду для бритья в блестящий никелированный стаканчик, опрокидывала над мусорным ведром пепельницы, полные окурков и конфетных бумажек. Почти не разжимая тонких, бледных губ, она еще в дверях выкладывала всегда какую-нибудь новость:

«Наша-то опять свою гребенку кудай-то задевала. Всю спальню перерыли, а не нашли…»

«Наша-то в театр едет, муслиновое платье с воланчиками гладить велела…»

«Наша-то вчера в карты продулась, нынче с левой ноги встала».

Горничная Катерина ненавидела докторшу Елену Матвеевну и за глаза называла ее не иначе как «наша» или «наша-то».

Иногда в кухню заглядывал и сам доктор Григорий Иванович, высокий, смуглый и весь коричневый – от шляпы до гетр. Держа под мышкой коричневый чемоданчик с инструментами и застегивая коричневую замшевую перчатку, он говорил:

– Поля, изжарьте мне отбивную с молодой картошкой, и пусть девочка принесет в больницу.

Доктор всегда называл Марийку «девочкой» и за три года так и не спросил ни разу, как ее зовут.

– Сегодня мяса на базаре хоть завались, – докладывала Поля, – а рыбы, Григорий Иванович, совсем мало. Был, правда, один сом – ну свежий, прямо усами шевелит, да вы ведь их не едите… А у одной женщины я нашла щуку за сорок копеек, да уж такую ледащую…

– А ну-ка… – говорил доктор и, сняв коричневую перчатку, вытаскивал из корзины рыбу за хвост.

– Да разве это рыба!.. Ерунда, а не рыба. Сорок копеек за такую дохлятину!..

И, старательно моя руки под краном, доктор повторял, покачивая головой:

– Сорок копеек за такую дохлятину… Это нужно умудриться! – и уходил, хлопнув дверью.

– «Дохлятина»… – ворчала Поля. – На пятачок прогадал, а скандалу на сто рублей. Ничего, барин, заработаешь… Вечером домой вернешься, так все карманы будут целковыми набиты. У-у, скупидон проклятый!..

– Эти целковые не так-то легко им достаются, – говорила Катерина, разжигая утюг.

Она обожала доктора так же сильно, как ненавидела его жену. Служила она у доктора Мануйлова тринадцать лет и в письмах к нему подписывалась: «Ваша раба Катерина Шишкова».

Катерина любила вспоминать те времена, когда доктор был еще не женат и она три года заправляла всем домом, как полная хозяйка.

– Ах ты мой боженька, – говорила она, – как хорошо жилось, когда Григорий Иванович были еще холостяки!..

По ее словам выходило, что в те времена и люди были лучше, и жизнь дешевле, и ситец прочнее.

В десять часов утра Марийку звали в детскую к Лоре. Она проходила через приемную для больных, скользя по навощенному паркету, как по льду, хотя это ей было строго запрещено. В приемной вдоль стен стояло много стульев, а на столиках лежали журналы, которые никто не читал: ни больные, ни домашние, потому что все боялись заразы.

В детской, белой солнечной комнате, за широко раскрытыми окнами шелестели ветви акаций. Восьмилетняя девочка с рыжими волосами и с веснушками на щеках и веках сидела в своей кроватке и ныла. Это и была Лора. По утрам она всегда бывала недовольна. Ей не хотелось вставать, не хотелось одеваться, не хотелось завтракать. Если светило солнце, ей хотелось дождика, чтобы можно было прыгать по лужам под маминым красным зонтиком, а если был дождик, она плакала оттого, что в дождик не пускают на улицу без калош.

– Вот оно, твое сокровище, бесценное, явилось… – говорила Лоре Катерина. – Ну, надевай же чулочки, видишь – Марийка пришла.

Лора протягивала Катерине ногу. Но иногда она кричала Марийке, как только та переступала порог:

– Уходи к себе на кухню! Ты сегодня некрасивая.

Марийка поворачивалась и уходила обратно, показав Лоре два раздвинутых пальца, что означало: «Ссора на всю жизнь». После этого она дулась несколько дней. Когда ее опять звали в комнаты, она не хотела идти и пряталась под кроватью, где пахло пыльной паутиной и где от всякого движения звенели над головой расхлябанные матрацные пружины.

Мать вытаскивала ее из-под кровати за ногу и, отшлепав, кричала:

– Дуреха! За ней господа присылают, а она еще фасоны строит! Подумаешь, принцесса гордая! Иди!..

И Марийка шла, ругая шепотом мать, Лору, Катерину и доктора с докторшей.

Лора встречала ее так, как будто ничего и не случилось.

– Ну, – говорила она, – придумывай игру.

И Марийка придумывала.

Одна половина жизни Марийки проходила на кухне, другая – в детской, у Лоры. После картофельной шелухи, после ваксы, которой она мазала докторские штиблеты, ей было даже страшно брать в руки чистенькие книги с цветными картинками и кукол в голубых и розовых платьицах. А Лора без Марийки не умела играть и даже не знала, как заправлять игрушечную швейную машинку; шелковые лоскутики, которые ей давала Елена Матвеевна, без Марийки валялись зря.

Немного поиграв, девочки бежали в спальню к докторше Елене Матвеевне. В спальне Катерина поднимала шторы, и на пол падали кружевные тени от гардин. На широкой дубовой кровати, между сбившихся подушек, лежала, щурясь на свет, молодая женщина, такая же рыжая, как Лора, только без веснушек.

– Мамочка, не надо ли тебе чего-нибудь поискать? – спрашивала Лора.

Девочки знали, что Елена Матвеевна всегда рассовывает свои вещи куда попало и потом ни за что не может припомнить, где они.

Марийка с Лорой любили разыскивать ее платки и гребенки, которые всегда оказывались в самых неожиданных местах.

Однажды весь дом искал полдня перчатку, и, когда все уже перестали искать, Марийка случайно нашла ее в китайской вазе.

В углу у Маласихи

Марийкин отец, часовой мастер Соломон Михельсон, умер восемь лет назад, за шесть месяцев до рождения дочери.

Это был тихий молодой человек с темными глазами. Он принимал в починку не только часы, но и старые бинокли, микроскопы, компасы. За починку брал он недорого, а работал очень аккуратно. Поэтому в его крохотном магазинчике, где один угол был занят картузником, всегда можно было застать двух-трех заказчиков.

Каждую пятницу Михельсон запирал свой магазин на час раньше и шел заводить часы к адвокату Радзевскому.

Радзевский жил в собственном особняке с облупившимися колоннами. У него была квартира из восьми комнат, и он держал кухарку, горничную и кучера.

Тут, у Радзевского, часовой мастер и познакомился с Полей.

Поля была круглой сиротой. Десяти лет она уже служила по чужим людям на Полтавщине, в деревне Глубокая Криница. Платили ей за службу два рубля в год и каждый раз на Пасху давали: чоботы, сорочку, платок и фартук. Она таскала на руках крестьянских ребят, набивала им рты жеваным хлебом и, если они орали, забавляла их тарахтелками из свиного пузыря, в котором гремели камешки.

Шестнадцати лет тетка увезла ее в город и определила в услужение к булочнику «одной прислугой за все». Днем Поля стряпала и управлялась по хозяйству, а вечером помогала булочнику месить тесто и сбивать белки для крема. Прослужив у булочника четыре года, она перешла на другое место, в горничные, где платили лучше и работа была чище. Поступила она к адвокату Радзевскому. Тут ее научили складывать салфетки веером, говорить по телефону и подавать стакан воды на блюдечке. Она теперь носила батистовые переднички и знала, какие рюмки полагаются для вина, а какие для водки.

– Добрый день, Соломон Абрамович, – приветливо встречала Поля часового мастера. – У нас на той неделе все часы ходили аккуратно, только в кабинете торопились на десять минут.

Она водила его по большим пустынным комнатам адвокатской квартиры и, задрав голову, смотрела, как он, стоя на лесенке, проверял и заводил часы.

Отправляясь в булочную, Поля делала небольшой крюк, чтобы пройти мимо часового магазина. В витрине стояли бронзовые часы, где вместо маятника качались на цепочках фарфоровые качели с фарфоровой девочкой на перекладине. За окном сидел Соломон и разглядывал сквозь лупу колесики и винтики, лежавшие перед ним на столе, и когда замечал Полю у окна, то поднимал голову и улыбался.

Как-то раз, в воскресенье, Соломон пришел к Поле в гости. Они посидели немного на кухонном крыльце, а потом пошли погулять в городской сад. С тех пор они стали часто встречаться и скоро решили пожениться. Поле нравился часовой мастер. Он одевался чисто, носил пиджак и шляпу, говорил тихим голосом и обращался с Полей не так, как все, а ласково, вежливо – жалел ее.

– Хорошая душа у Соломона Абрамыча, – рассказывала Поля подругам. – Говорит он с тобой как брат родной. Человек он ужасно добрый, и я с ним не пропаду.

– Это верно, – говорили соседские кухарки. – Главное, что евреи почти совершенно непьющие. К тому же и ремесло у него очень чистое.

В день именин Михельсон подарил Поле флакон одеколона «Нильская лилия» и полдюжины батистовых носовых платков, обшитых тоненьким кружевцем. Такие дорогие платки Поля видела только у своей хозяйки. Она не решалась в них сморкаться и спрятала все шесть в сундучок.

Поля объявила хозяевам, что служит последний месяц. Она стала ходить по посудным лавкам, купила синий стеклянный, весь в шипах кувшин, четыре тарелки, разрисованные вишнями, и все мечтала, как она уберет свою новую комнату и какие повесит занавески, когда они с Соломоном Абрамычем поженятся.

Но с Михельсоном случилось несчастье. Осенью его вызвал к себе в имение один богатый помещик, у которого испортились большие башенные часы в парке. Михельсон исправил старинные часы, получил, кроме платы, два десятка оранжерейных персиков и отправился домой. Тут-то и приключилась беда. Лодка, в которой он переправлялся через Днепр, опрокинулась неподалеку от берега. Михельсон добрался до берега благополучно, но после купанья в холодной осенней воде заболел воспалением легких и умер на шестой день.

Поля ничего не знала ни о возвращении, ни о болезни Михельсона. Как-то вечером, когда она чистила серебряные ложки, к ней пришла незнакомая пожилая женщина и сказала, что старики Михельсоны просят ее сейчас же прийти, – с их сыном случилось несчастье.

Поля набросила на плечи платок и побежала к старикам. Сердце у нее колотилось от страха. Она еще ни разу не бывала у Михельсонов и не знала, как они ее примут. Ведь сын их был часовой мастер, а она – простая прислуга. Да и что это случилось с Соломоном?

Старики Михельсоны занимали небольшую квартирку позади часового магазина. В первой комнате было пусто. «Живут небогато», – подумала Поля, окинув взглядом кушетку, обитую ситцем, некрашеный сосновый стол и дешевые зеленоватые стаканы.

Из соседней комнаты слышался женский плач. Поля нерешительно остановилась на пороге. На полу, у стенки, лежали большие подушки в белых наволочках с прошивками. Старик и старуха сидели на подушках и оплакивали сына, как полагалось по старому обычаю. У старика плечи были покрыты полосатым талесом, а на коленях лежал толстый молитвенник. Старуха, очень старая и морщинистая, в парике, черном как воронье крыло, сидела на подушке, покачиваясь от рыданий. Слезы не переставая текли из ее глаз.

– Вот какое у нас горе, – сказала она Поле, – нет у нас больше сына… В субботу он вернулся совсем больной и не съел даже кусочка рыбы. Мы уложили его в постель, а сегодня он уже в земле.

Старуха долго плакала. Она, видно, хотела что-то еще сказать Поле, но слезы мешали ей говорить. Она начинала, всхлипывая, выкрикивать по-еврейски какие-то слова и один раз даже ударилась головой о стенку.

Поля стояла у порога и тоже плакала. Михельсоны как будто забыли про нее: старик склонился над молитвенником, старуха стонала и охала. Поля постояла, постояла и ушла, тихонько плача.

Через неделю старуха сама пришла к Поле, вызвала ее на крыльцо и сказала, что сын, умирая, беспокоился о ней и о своем будущем ребенке и просил позаботиться о них. Старуха дала Поле двадцать восемь рублей денег и серебряные часы фирмы «Павел Буре» с надписью на крышке: «2-я премия за отличную стрельбу».

Через полгода родилась Марийка.

Она появилась на свет в «Екатерининском родильном заведении для бедных».

У нее не было отца, она была прислугина дочка, значит, она была «бедная».

После рождения дочки Поля сняла угол у знакомой старухи, чулочницы Маласихи, и стала ходить на поденщину.

Жила Маласиха на фабричной окраине города, в Культяповке.

На склоне глинистой Скупой горы и в оврагах густо лепились землянки и покосившиеся лачуги.

Лачуги эти были сколочены из листов ржавой жести, из обломков дорожных ящиков с черными надписями «осторожно», из кусков старых заборов, утыканных гвоздями. Жили в них фабричные – с текстильной фабрики, с лесопилки, с металлургического завода.

Весной потоки рыжей глинистой грязи затопляли овраги и кривые улочки Культяповки. Женщины, увязая в липкой глине, с трудом перебираясь с камня на камень и с доски на доску, тащили ведра с водой из единственного колодца.

На рассвете, когда раздавался первый протяжный гудок с лесопилки, в лачугах один за другим зажигались огни и за окнами начинали шевелиться тени. После второго гудка всюду хлопали двери, рабочие выходили на улицу и длинной вереницей тянулись к Мандрыковскому спуску. Тут дорога раздваивалась: женщины шли налево – к табачной фабрике, мужчины направо – к лесопилке и к металлургическому. Днем улица Культяповки была пустынна. Только ребятишки копошились в пыли и ловили лягушек в канавах.

Вечером, после гудка, Культяповка снова оживала. Вечерняя смена шла на работу. Рабочие утренней смены возвращались домой.

Поля работала поденно у мастеровых, которые не могли держать постоянную прислугу и только изредка нанимали поденщицу. Изо дня в день приходилось ей стирать пропитанное заводской копотью белье, отчищать заскорузлые кастрюли, отскабливать затоптанные, заплеванные полы.

Что бы ни делала Поля – гнулась ли над корытом с прокисшим вонючим бельем, ползала ли по полу на мокрых коленях, – ни на минуту она не переставала думать о том, что дома, совсем одна, целый день лежит ее Марийка.

«Не вывалилась ли Марийка из люльки, не надорвала ли грудку, плача с утра до вечера?»

И верно, Марийка могла орать целый день во всю свою небольшую силенку, все равно раньше двенадцати часов, когда прибегала из мастерской Маласиха покормить ее из рожка, к ней никто не подходил. Маласиха была маленькая толстенькая старушонка с руками черного цвета. Уже много лет она занималась окраской чулок, и руки у нее никогда не отмывались. Она кормила Марийку из рожка, съедала сама несколько холодных вареных картошек и снова уходила в мастерскую.

Марийка часами плакала, потом умолкала и опять плакала, засыпала, просыпалась и плакала опять.

Когда она немножко подросла, она привыкла лежать одна в пустой комнате. Комната ей казалась очень большой. Всюду были протянуты веревки, с которых свисали мокрые крашеные чулки.

В углу у чулочницы Маласихи Поля с девочкой прожили три года. Марийка очень рано научилась ходить. У нее были игрушки: жестяная коробочка с фасолью, катушки из-под ниток и ручка от поломанной мясорубки. Кроме того, было еще окно. Отсюда можно было увидеть множество интересных вещей, особенно летом, когда воздух такой синий, что если долго смотреть вверх, то в небе начинают лопаться какие-то сверкающие пузыри. Но, может быть, это были и не пузыри, а золотисто-сиреневые голуби, реющие в поднебесье…

Вечером, когда в комнате становилось темно и Марийка не могла уже играть, она забиралась на постель и сидела тихо-тихо, как мышка. В сумраке неосвещенной комнаты чулки, висевшие на веревках, становились похожи на чьи-то тонкие черные ноги. Тонкие черные ноги шевелились от сквозняка и, переплетаясь, плясали на веревках.

Марийка немного подросла, и Поля переехала из Культяповки в город. Она поступила к сестрам Сухановым, но теперь уже не горничной, а снова «одной прислугой за все» – на шесть рублей в месяц со стиркой. Прислуге с ребенком уже не приходится выбирать места.

Сухановы были маленькие, худенькие, черноглазые, похожие на свою мать, такую же маленькую и сухонькую, как они.

Когда старуха Суханова шла по улице вместе с тремя дочками, одетыми, как и она, в старомодные бархатные пальто с буфами, их всех можно было принять за сестер.

Младшая Суханова была зубным врачом. К ней ходило лечиться много ребят. Из приемной комнаты на кухню всегда доносился рев детей, которые не хотели входить в зубной каби-

нет. Суханова всех мальчиков называла «зайцами», а девочек «зайчихами». Если Марийка попадалась ей на глаза, она всегда говорила девочке:

– А ну-ка, зайчиха, открой рот! Э, да ты совсем беззубая, как бабушка…

Рано утром, пока все еще спали, Марийка ходила в приемную для больных, большую холодную комнату со множеством вышитых подушек и салфеток, разложенных по диванам. В углу под этажеркой жила большая старая черепаха. Марийка стучала пальцем об пол, и черепаха медленно выползала на этот стук. Лежа на полу, Марийка играла с черепахой. Ей хотелось погладить пальцем маленькую плоскую головку, но черепаха втягивала головку под панцирь и ни за что не позволяла к себе притронуться.

У Сухановых было много денег, но жили они скупо. Суп варили на два дня, чтобы выходило дешевле, а когда к ужину готовили селедку, то прислуге доставались только хвост и голова. Больше всего на свете Сухановы боялись воров. На дверях у них было пять запоров: французский замок, ключ, задвижка, цепочка и огромный чугунный болт. Старуха каждый вечер приходила на кухню и говорила нудным, скрипучим голосом:

– Прислуга должна быть честной. Самое главное – это честность. Дело не в том, что она тайком выпьет сливки, а дело в принципе…

Когда Марийке исполнилось шесть лет, мать начала учить ее грамоте. Поля и сама-то научилась читать недавно. Покойный Михельсон подарил ей букварь и показал буквы. Первая книга, которая попала Марийке в руки после букваря, была «поваренная». Марийка прочла ее от корки до корки, и долгое время ей снились по ночам горы сливочного мороженого, целые озера фруктовых подливок и красные моря из томатного соуса, над которыми кружились, хлопая поджаренными крыльями, утки, начиненные яблоками.

У Сухановых Поля с девочкой прожили несколько лет. Но однажды у зубной докторши завалилась куда-то золотая коронка, и старуха перевернула весь дом. Отодвигали все шкафы, встряхивали все ковры, искали под кроватями, под диванами, под этажерками, но коронки… так и не нашли.

– Самое главное – это честность; прислуга должна быть честной… – скрипела старуха целый день.

А вечером она пришла на кухню и сказала Поле:

– Я вынуждена обыскать ваши вещи.

Поля заплакала и вытащила из-под кровати свой сундучок. Старуха Суханова вынула из сундучка ситцевую сорочку, полотенце с вышитыми петухами, наволочку и носовые платки, перевязанные голубой ленточкой.

– Откуда это у вас? – спросила старуха и посмотрела на Полю, высоко подняв брови.

– Жених подарил, – ответила Поля и покраснела.

Старуха ничего не сказала, только понюхала платки и отложила их в сторону.

Марийка сидела на кровати и не дыша следила за тем, как морщинистые, унизанные кольцами пальцы старухи вытаскивают из сундука одну вещь за другой. Когда дошла очередь до синего кувшина, Марийка заревела во все горло. Она думала, что старуха заберет кувшин.

Назавтра Суханова отказала Поле от места.

– Возможно, что вы и не брали коронку, – сказала она, – но тень подозрения на вас падает. Для меня самое главное – это честность. Кроме того, ваша девочка подрастает, и у нас за последнее время уходит очень много хлеба.

Старуха уплатила Поле пять рублей двадцать копеек. Ей полагалось шесть рублей, но восемьдесят копеек с нее удержали за разбитые тарелки.

Доктор Мануйлов и Лора

Была война. За два года к ней все привыкли, и никто уже не удивлялся, что на улицах солдат и офицеров гораздо больше, чем штатских. Всех молодых и здоровых забирали на фронт. Ушел Машкин отец, дворник Андрей, ушли два студента из первого этажа, ушел водопроводчик Ковтюн и плотник Легашенко. Во дворе, где жила Марийка, остались только старики, женщины и дети. Почти всех городских врачей тоже послали на войну. Доктор Мануйлов остался дома, потому что у него была «расшатана нервная система», как говорила его жена, Елена Матвеевна.

Марийка внимательно присматривалась к доктору. Ей хотелось знать, что это в нем расшаталось.

Но доктор был все такой же прямой, так же твердо и четко шагал, и ничего в нем не шаталось. И работал он так же много, как раньше. Видно, не такая уж сильная была у него болезнь.

– Мама, а что это – «нервная система»? – как-то раз спросила Марийка у Поли.

– Панская хвороба! – ответила Поля сердито.

Доктор утром лечил в больнице, днем ездил к больным на дом, а вечером принимал их у себя. Бывали дни, когда он зарабатывал в день пятьдесят рублей и даже больше. Кроме того, садоводы-караимы, которых он лечил, присылали ему на дом брынзу, масло в маленьких плоских бочонках и корзины с желтыми сливами.

Доктор Мануйлов был высокий, смуглый, черноглазый, с седеющими, точно напудренными, висками.

Он считал себя отличным, талантливым врачом и говорил, что больные готовы на него молиться. Бесплатно он лечил только в больнице. Все знали, что бедных он не лечит. Он не стесняясь говорил про себя:

– Я работаю как каторжник, у меня семья, и я не могу быть благотворителем.

Он был очень чистоплотен и аккуратен и требовал аккуратности от всех в доме. Он сердился, когда Елена Матвеевна повсюду разыскивала свою сумочку, или у Лоры был криво завязан на голове бант, или жаркое было разложено на блюде не по правилам (мясо должно было лежать как раз посередине блюда, а гарнир вокруг).

В комнатушке у Катерины стояла круглая картонка, где, точно блины, стопкой лежали полотняные чехлы от летних фуражек доктора. Четырнадцать белых накрахмаленных чехлов.

Доктор носил ослепительные, точно фарфоровые, воротнички, и каждую субботу парикмахер Жорж приходил мыть ему голову особым составом. Можно было подумать, что доктор не был никогда сыном кременчугской курятницы Мануйлихи. Он и не вспоминал о своем детстве, о городке, в котором вырос, о маленьком дворике, где постоянно стоял крик и кудахтанье птицы, где хлопали крылья и в воздухе медленно кружились куриные перья.

Раз в год, на Пасху, приезжала из Кременчуга мать доктора, толстая черноглазая старуха с тремя подбородками и с коричневой бородавкой на лбу. Из бородавки торчал пучок седых волос. Она привозила с собой бутылки с янтарным гусиным жиром и битую птицу. Это была болтливая старуха. Она любила говорить о себе и о своих детях, лучше которых, по ее словам, никого не было на свете. Она была уверена, что второго такого врача, как ее сын, нет во всем мире, и, гулко вздыхая, говорила басом:

– Я хоть и простой человек, а детям своим образование сумела дать. Дочек я не только скубти курей учила, а и еще кой-чему. Они у меня вполне воспитанные барышни, чистехи и умницы. Уж не говорю про Гришеньку. Всем известно, какой он доктор…

Марийка боялась доктора. Он никогда на нее не кричал, но если он входил в кухню в то время, когда девочка ела, то у нее кусок застревал в горле. Один раз она слышала, как старая Мануйлиха сказала доктору:

– Твои прислуги тебя обжирают. Держишь кухарку с ребенком, точно какой помещик.

Поэтому за обедом Марийка всегда торопилась. Она обжигалась горячим супом и давилась неразжеванными кусками. Она боялась, что доктор войдет в кухню и увидит, как много она ест.

– Да ешь ты толком! – кричала на нее мать. – Ведь не краденое…

Марийка начинала жевать медленнее, но она так привыкла есть второпях, что куски сами проскакивали ей в горло.

– Не ребенок, а живоглот, – говорила Поля.

Не одна Марийка боялась доктора. Все в доме побаивались его. Даже упрямая Лора не смела при нем капризничать.

Лора часто хныкала по утрам и ни за что не хотела завтракать. Тогда заходил в детскую доктор и спокойно говорил:

– Если Лорочка любит своего папу, то она выпьет молоко…

Лора хмурилась, гримасничала, но все-таки опускала нос в кружку.

– Кушай, Лорочка, кушай, – приговаривала Катерина.

Но стоило доктору перешагнуть порог, как Лора опять начинала фыркать и выплевывать пенки. Набив полный рот яичницей или гренками, она мотала головой и отталкивала лбом ложку, которую протягивала ей Катерина. Будто столбняк какой-то находил на нее. Откусит большой кусок булки с маслом, но не глотает его, а сидит полчаса с раздутой щекой, уставившись в одну точку. Однажды утром Катерина чистила ей зубы и, всунув в рот зубную щетку, вытащила наружу кусок колбасы, пролежавший у Лоры за щекой целую ночь. Случалось и так: Лора заявляла, что она ни за что не станет есть, пока не позовут Марийку. Марийку звали в детскую и усаживали рядом с Лорой за маленьким столиком.

Когда Марийка сидела рядом, Лора начинала жевать быстрее.

Дом на Губернаторской

Марийка сидит на корточках возле раскрытой кухонной двери и чистит ножи тертым кирпичом. Она видит перед собой длинный двор, залитый солнцем, двухэтажные флигеля, обсаженные акациями, а в конце двора большую лужайку, или «полянку», как все называют ее.

На полянке колышется высокая, по пояс, густая трава, а репейник даже выше Марийкиного роста. На полянке хорошо играть в прятки или гоняться за стрекозами и красненькими божьими коровками.

В этот ранний час двор еще пуст. Только старый дворник, Машкин дедушка, красит скамейки в зеленую краску да две няньки с младенцами сидят на соседнем крыльце.

Но вот на окнах поднимаются шторы, из подъездов выбегают ребята. Горничная вытряхивает ковры, бублишница Хана проносит на плече корзину с горячими бубликами.

Машкин дядя, недавно приехавший из деревни, пятнадцатилетний Василько, вытаскивает из подвала длинный, похожий на змею шланг и начинает поливать двор.

Высоко вверх бьет водяная струя, шуршат по листьям и сверкают на солнце брызги. Василько нравится смотреть, как играет вода, с напором вырывающаяся из узкого, тесного шланга; то он направит струю вверх фонтаном, и в воздухе запахнет сыростью и прибитой пылью, то начнет поливать мостовую завитушками и кренделями, обливая по пути старую белую клячу, запряженную в телегу с дровами.

Кляча покорно стоит под потоками холодной воды, только испуганно мигает белесыми ресницами, а вокруг бегают мальчишки, хохочут и стараются попасть под водяную струю.

На черном крыльце появляется Лора. Она доедает кусок булки с медом. Катерина догоняет ее, чтобы застегнуть на ней передник.

– Марийка, пойдем играть с девочками! – кричит Лора и пробегает мимо Марийки на полянку.

Там собралось уже много детей: нарядная Ляля с огромным, похожим на пропеллер бантом в волосах, Володька из 35-го номера, белокурая длинноносая Ванда Шамборская. Они играют в «короля», и Марийка слышит, как Лора говорит мальчику Маре, который живет во втором этаже:

– Здравствуйте, король!

– Здравствуйте, милые дети, – сонно отвечает толстый Мара. – Где вы были, что вы делали?

– Были в саду, а что делали – угадай! – хором отвечают дети и начинают подпрыгивать вверх, хватая горстями воздух.

«Рвали вишни», – думает Марийка и, зажав в руке воняющий селедкой нож, следит за игрой. Мара-король морщит лоб и надувает щеки – он никак не может отгадать.

Король соображает медленно, и все дети успевают разбежаться в разные стороны. Марийке тоже хочется поиграть в «короля». Она могла бы такое задумать, чего никто бы не разгадал, – что там дурацкие вишни! Можно придумать, будто вертишь мясорубку, жаришь картофель, или вытаскиваешь у больного занозу из пальца, или завиваешь волосы щипцами, или едешь на велосипеде… Но Марийке надо вычистить еще шесть ножей и восемь вилок, воняющих селедкой. А это не так-то просто. Марийка наклоняет голову так, что волосы падают ей на глаза, и начинает изо всех сил тереть кирпичом ножи.

Она трет и трет, а сама то и дело поглядывает украдкой на полянку.

Из дворницкой выходит Машка с банкой в руках. Она идет в лавочку Фельдмана за солеными огурцами. По пути она останавливается возле Марийки и несколько минут стоит молча, широко расставив ноги и прижав к груди стеклянную банку.

– Чистишь? – говорит она наконец. – Кирпичом? А я чищу землей… Ишь, разорались, делать им нечего! – добавляет она, кивнув на полянку.

– Подожди меня, – просит Марийка, – мне тоже надо в лавочку, за перцем.

Лавчонка старого Фельдмана помещается тут же, во дворе. Марийка и Машка входят с черного хода. В сенях, заваленных бочками и ящиками, жена Фельдмана, худая замученная старуха, стирает белье. В полутемной лавчонке пахнет селедками, корицей и туалетным мылом. Веники, нанизанные на веревку, висят пышной гирляндой под потолком. Перед прилавком толпятся дети из соседних домов: они покупают леденцы и переводные картинки.

Лавочник – длинный тощий старик в жилетке и черной шелковой шапочке.

Он охает и кряхтит, когда ему приходится доставать с верхних полок железные банки с леденцами.

Дрожащей, сморщенной рукой лавочник вынимает из банок леденцы: туфельки, рыб и бабочек – все ядовитого розового цвета.

Он разрезает ножницами листы переводных картинок, раздает их детям и у каждого спрашивает, сколько ему лет.

– А тебе сколько лет? – спрашивает он у Марийки, протягивая ей пакетик с перцем.

– Восемьдесят! – отвечает Марийка и смеется, подмигнув Машке. Ей надоело каждый раз говорить лавочнику, что ей восемь лет.

К полудню двор уже полон детей и нянек. И дети, и няньки то и дело поглядывают на флигель с зеленой крышей и просторными окнами. В этом флигеле живет сам домовладелец – Сутницкий. Каждое утро, ровно в двенадцать часов, на балкон Сутницкого горничная выносит большую золоченую клетку с попугаем. Дети начинают дразнить птицу:

– Попка дурак! – кричат они, прыгая под балконом. – Ку-ку, попочка, ку-ку!..

– Ку-ку! – пронзительно и хрипло орет попугай, раскачиваясь в кольце.

Вскоре на балконе появляется сам Сутницкий, высокий седой старик с черными бровями, в пестром бухарском халате. Если он в хорошем настроении, то бросает вниз конфеты, и мальчишки вырывают их друг у друга. Марийке тоже один раз досталась шоколадная конфета, измазанная пылью, но все же очень вкусная.

Все дети боялись Сутницкого. Он был очень важный и богатый. Говорили, что в его имениях столько земли, сколько во всей Бельгии, – а Бельгия это ведь целое государство. Няньки стращали им непослушных: «Вот погоди, я Сутницкому расскажу…» Уж очень были страшны его нависшие черные брови. Когда он проходил через двор, няньки поправляли у девочек банты в волосах и обдергивали передники. «Здравствуйте, Сергей Иванович», – кланялись они. А он ни на кого не смотрел и только прикладывал руку к козырьку. Если он замечал на земле какую-нибудь бумажку, то натыкал ее на железный наконечник своей палки и относил в мусорный ящик. Палка Сутницкого очень нравилась всем детям. Вместо набалдашника на ней была укреплена раздвижная дощечка, и эту палку можно было превратить в стул на одной ножке. Сутницкий нередко сидел на своей палке где-нибудь посреди двора. Его косматые черные брови насуплены, седые усы хмуро свисают вниз, и он долго сидит, уставившись невидящим взглядом в землю.

Сутницкий один занимал все двенадцать комнат флигеля. Жена его давно умерла, а единственная дочь вышла замуж за англичанина и жила за границей.

Каждый год, зимой, она приезжала на неделю в гости к отцу и привозила своего сына Вилли, краснощекого мальчика в шерстяных носках, который даже в самые лютые морозы ходил с голыми коленками.

Вилли плохо говорил по-русски и играл с одной только Лялей Геннинг.

В бельэтаже, в большой квартире с окнами на улицу, жил богатый меховщик Геннинг. У него была дочка, ровесница Лоры и Марийки. Всем мамашам очень нравилась хорошенькая Ляля. С ее платьиц и кружевных воротничков снимали фасоны.

Она всегда вертелась между взрослыми и прислушивалась к их разговорам. Иногда вдруг, среди игры во дворе, она начинала говорить что-то не совсем понятное:

– Теперь в моде платья из пан-бархата… Булонский лес красивей, чем Сокольники…

Ляля очень гордилась тем, что она играет с англичанином Вилли. Когда он приезжал к своему дедушке, она надевала самое нарядное платье и с утра уходила к нему в гости. В эти дни она уже не обращала внимания на других детей.

Но стоило Вилли уехать, и Ляля как ни в чем не бывало выходила во двор и вмешивалась в игры.

Марийка не любила Лялю Геннинг. Когда Ляля в первый раз появилась на дворе, Марийка и Лора играли в «классы». Лора прыгала на одной ноге по криво нарисованным квадратам, а Марийка сидела рядом на корточках и, раскачиваясь, приговаривала:

Колдуй, баба, колдуй, дед, Заколдованный билет… Чух-чух, не хочу, Я ошибку закачу…

Это нужно было для того, чтобы Лора «стратила», то есть сделала ошибку.

Лора и в самом деле скоро «стратила»: бросила свое стекло прямо в «пекло». После Лоры была Марийкина очередь. Она старательно прыгала на одной ноге, а Ляля стояла сбоку и наблюдала за игрой. Кончив играть, Марийка спрятала в карман свои «счастливые стекла». Тут Ляля дернула ее за рукав:

– Девочка, я не хотела вам помешать, когда вы играли. Разве вы не видите, что у вас порвался башмак? Подите домой и наденьте другие туфли…

Марийка посмотрела на свой грязный палец, выглядывавший из дырки, покраснела и отставила ногу назад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.